

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



КАЗНЬ С. РАЗИНА

РАССКАЗ

— Са-ань, а Сань... дай попишу.

— Нельзя. Иди, куда шёл.

Худой мальчишка одиннадцати лет сидел за кухонным столом — правым боком к окну — и что-то выводил печатными буквами на вырванном из тетради листке. На нём была до просветов истертая рубашка с заплатами на локтях; давно не стриженные выгоревшие волосы размётанной соломой падали на лоб и маленькие прозрачные уши, а голодная жизнь заострила, казалось, не только лицо, но и взгляд серьёзных карих глаз. Шестилетний двоюродный брат притопал со двора звать Саньку, но увидел листок, чернильницу и забыл, зачем пришёл.

— Поди баушке помоги, — с нетерпением добавил старший, не отрывая глаз от бумаги. — Она траву жгёт.

— Нужна-а она. Дай попишу.

— А ну вали отседа! Пока в ухо не дал!

Мальш прыснул в сени, и Санька снова стал выводить буквы. Время от времени он останавливался, читал написанное, возбуждённо ёрзал по табуретке, стучал ботинком в тумбу стола и при этом сердито хмурил выгоревшие брови. Видно было, что чувства его сильно обгоняют умение писать, а потому буквы в некоторых словах плясали “барыню”.

---

*ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович — профессиональный журналист, работал в газетах Мурманской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Волгоградской областей, 15 лет — в “Известиях”: корреспондентом по Казахстану, заместителем редактора отдела, обозревателем. В настоящее время работает в парламентском журнале “Российская Федерация сегодня”. Печатался в коллективных сборниках; автор публицистической книги “Пласты сдвигаются”. Живёт в Москве.*

К тому ж и слова, способные передать всё, что он чувствовал, нащупывались с трудом. В уме прыгали привычные “гад”, “собака”, “в ухо дам”, а тут требовались совсем другие. Запнувшись в очередной раз, мальчишка в задумчивости погрыз ручку, затем сходил к ведру, которое стояло в углу кухни, попил воды, но ничего не придумав, снова вперился в листок. Там было написано:

### Пацаны

*Маркиз, Шурей, Сазан, Немец и другие все наши пацаны. Сколько мы будим тирпеть издвательство над нами. От больших пацанов. Малчана, Кольки Бурого, Кольки Москвы, Слесаря, Табака и других больших пацанов. Они что повелят мы это и давай им делать. Они как захочут так нас и душют. Помниш Сазан отдушили тебя у штаба? Чем ты был виноватый. Ни дал Малчану червей. А пускай сам накопает. А помниги Бурый и Москва за что душили Венку Казака? А ни за что. Они делают с нами как делали помещики или немцы. Фашисты. Бояри и дворяне.*

Вдруг с улицы донеслось заполошное кудахтанье. Мальчишка моментально повернулся к окну. Из сарая выскочила курица и, причитая, помчалась в огород. Он жадно проводил её взглядом, но тут же отвернулся и сплотнул спину. В другое время Санька немедленно нырнул бы в сарай. Кудахтанье было для него сигналом: в сарае, на дне большой старой корзины из ивовых прутьев, на сене, которое бабка постоянно обновляла, лежало свежее яйцо. Оно было ещё тёплое и казалось тяжёлей двух-трёх других, снесённых раньше.

Какое-то время после того, как они завели четырёх кур, Санька только трогал свежие яйца. Разбить хоть одно и выпить — было невысказано. Считай, прямо сказать бабке: я украл яйцо. После этого Санька мог не сомневаться: от матери он получит не просто оплеуху, а порку ремнём. По-уличному: лупцовку.

Но голод — этот постоянно сосущий голод, надоумил Саньку, как действовать. Однажды, услышав сигнал, он тут же юркнул в сарай. Взял свежее яйцо, гвоздём проколол дырку. Прилип губами и стал сосать. К его недоумению, ничего из яйца не выходило. Тогда он проколол дырку и с противоположного конца, соломинкой поковырял внутри. Снова присосался губами и отнял яйцо, лишь когда оно стало лёгким. Тёплая жидкость умерила голод, но теперь надо было как-то уходить от наказания. И Саньку снова осенило. Он принёс в алюминиевой кружке воды, набрал в рот, стал с силой вдвухать воду в яйцо. Когда операцию закончил, замазал грязью с помётом обе дырки, положил яйцо в корзину.

Жили они бедно, яйца бабка копила, чтобы продать. Но тут приближалась Пасха — в тот год она была поздняя, в мае, и бабка стала копить к празднику.

Пасху Санька любил. За сытость. С утра на тарелке лежали крашенные в коричневый цвет (варились в луковой шелухе) яйца, и можно было сразу съесть два, а то и три. Приходили разные гости, угощали куличом, яйцами. Бабка давала пару, когда Санька шёл на улицу. Там тоже можно было разжиться: били яйцо об яйцо; тот, чьё оказывалось крепче, забирал разбитое. Правда, иногда Санька жалел, что их куры не несут железные яйца.

Но особенно он любил Пасху за куличи. Бабка пекла их в духовке, в разного размера баночках. А перед тем Саньке доверялось делать гоголь-моголь. В чашку разбивали несколько яиц, всыпали сахар, и всё это надо было долго взбивать, пока смесь не становилась молочного-белой. До сытого Пасхального утра было ещё далеко, голод, и без того не исчезающий, совсем стервенился — ведь в чашке плескалась такая “вкусь”, и Санька, едва бабка отворачивалась, молниеносно облизывал ложку.

Перед последней, майской Пасхой Санька снова ждал гоголь-моголя. А дождался лупцовки. Вечером бабка принесла из погреба кастрюльку с яйцами. Санька, который читал книжку в другой комнате избы — в горнице, хотел сразу перейти на кухню. Но тут в книге началась драка индейцев с белыми американцами, а этого Санька оставить не мог. Когда шло про любовь или о природе, он пропускал целыми страницами. Но в боях всегда переживал за “наших”, и пока они не побеждали “немцев”, не закрывал книгу.

Вдруг в кухне бабка ойкнула, с удивлением воскликнула “Эт штой-т такое?” и крикнула Санькиной матери — своей дочери:

— Зинк, а Зинк! Ты глян-ка, у нас куры стали водой нестись.

Санька оттолкнул книжку, пулей пролетел из кухни в кухню: он-то знал, что случилось с курами, но выскочить в сени не успел. Мать поймала его за воротник рубахи.

Теперь заполошное кудахтанье вызвало в нём неприязнь. Да и бабка, которая сейчас жгла на огороде собранную в кучу засохшую траву, наверняка бросила костёр и спешит в сарай забрать яйцо от греха подальше. Чтобы не видеть этого, Санька наклонился к листку и, распалённый новой обидой, шустрей, чем прежде, заскрипел пёрышком.

*“Лушот они нас по одному как раньше манголы русских князей. Но хватит тирпеть. Тирпению пришёл капут\*. Мы им ни князья. Давайте об... — Мальчишка запнулся, не зная, что поставить в слове “объединимся” — твёрдый или мягкий знак, вспомнил другое слово, зачеркнул “об” и написал: — соединимся все вместе. И оглушим их по одному. Не бойсь Сазан. Я возьму рогатку”.*

Вдруг ноздри его зверьковато дрогнули, потянули воздух. В избе явно запахло дымом костра.

— Саньк, ты куда Вовку справил?

Мальчишка поднял глаза: в дверях стояла бабка. Ростом она была невысока. Просторная кофта и длинная юбка — всё выгоревшее и бесформенное, не позволяли определить её комплекцию и возраст. Коричневое от загара овальное лицо, охваченное белым платком, было гладким и полным, почти без морщин. Однако складки у губ да белые лучи-полоски возле глаз, заметные на загорелой коже, говорили о немалых прожитых годах.

— Только што вертелся окошь меня... Куда делся? — проговорила она, оглядывая кухню. — Не знаешь?

— Нужен он мне, как собаке пятая нога. На улицу либо пошёл.

Некоторые выражения у него были бабкины. Мать Санька видел мало. Она работала на железной дороге каким-то наливным диспетчером. Что она наливала, Санька не знал, но поскольку иногда слышал разговоры о нефти и мазуте, то догадывался, что мать, наверно, помогает наливать цистерны, которые длинными составами двигались по железнодорожным путям, и пачаны долго пропускали их, идя в школу или обратно.

Попив, как и Санька, воды из ведра, бабка присела на табуретку с другой стороны стола.

— Чево пишешь? Уроки? Так ведь школы ещё нет.

Её действительно заинтересовало Санькино занятие. Читать он любил — это бабка видела, но чтоб писать, да ещё до сентября — что-то не похоже было на внука.

— В лесу волк, видать, сдох. Сам взялся, без материного приказа. Куда ж эт Вовка делся?

— Говорю, на улицу пошёл. Ты всё пожгла?

— А тебе зачем?

— Есть охота. Кишка кишке протокол пишет, — сказал Санька чужими, взрослыми словами. Он услышал их в избе у Славки Сазана. Отчим, дядя Ваня, товаровед продуктовой базы, сказал так Славкиной матери, садясь вечером за стол.

— Есть не скоро будем. Жди, когда мать придёт.

— А хлебца малость дай.

Бабка нагнулась, открыла дверцу тумбы. Она любила этого внука. Даже больше, чем детей своей младшей дочери — Антонины. У Вовки и старшего, десятилетнего Сергея, был отец. Какой-никакой — убогий, по мнению бабки, и без царя в голове, но всё ж отец. А старшая дочь — Зинаида — жила одна, и Санька рос безотцовщиной.

— На, корочку пожуй.

— Чё тут, башк, жевать?

---

\* Капут (нем.) — конец.

Он никогда не говорил “бабушка”. Само собой получалось укороченное “баушк”, однако в быстрой Санькиной речи и это слово обрезалось до краткого “башк”.

Откусив от маленькой корки кусочек, притворно схватился за щеку.

— Ты чево?

— зуб болит. Мякушки дай.

Бабка снова нагнулась к тумбе, повозилась там.

— На. Разжуй... поддержи на зубе.

— Мало.

Бабка с иронией глянула на внука.

— Разжужь — будет много.

Есть хотелось так, что бабкино выражение “живот прилип к спине” показалось Саньке реальностью. Но он откусил только самую малость от мякиша. Хлеб нужен был, чтоб прилепить листок к столбу электропередачи на улице.

Корку он спрятал в карман, мякиш держал в левом кулаке — оставалось дописать воззвание, однако бабка не уходила.

— Ктой-то у Михеевых опять виноград попортил. Не знаешь?

Санька нетерпеливо дёрнул плечами, отрицательно помотал головой. На этот раз он действительно не знал. Две недели назад вместе с Сазаном, братьями Казаками и Шуреем ночью пролез в сад к Михеевым. Виноград был чем-то необычным для их округа, никто, кроме полковника Михеева, на всех улицах частного сектора с сотнями домов и домишек не разводил эту ягоду. Ночь была по-южному тёмная — выколи глаз. На ощупь находили гроздья; они трудно отрывались; раздёрганные гроздья совали за пазуху, усыпая виноградинами землю.

По этим следам полковник с участковым дошли до Поляны — пустыря, раздвинувшего дома одной из улиц так, словно улица-удав что-то проглотила, и домишки, шедшие параллельно друг другу, внезапно отодвигались назад, делали с двух сторон полукольца, а потом снова выстраивались в параллельный ряд. На Поляне валялись скелеты гроздьев, там и тут виднелись выплунутые семечки.

Семечки и подсказали следопытам, как искать. Самых засветившихся в уличных происшествиях — двоих братьев Казаков, Сазана и Юрку Маркиза (хотя он в набеге не участвовал) по очереди сажали возле дворовых уборных и в присутствии матерей смотрели, что выходит из их тощих задниц. Казаки и Сазан попались: в хилых кучках было полно виноградных зёрен. Через допросы вышли на Шурея. Оставалось добраться до Саньки. Но он, представив, какой будет стыд — сидеть на корточках со спущенными штанами под взглядами чужих людей, распереживался, да так, что у него поднялась температура: высокая, до бреда, и когда следопыты постучали щеколдой калитки, к ним вышла суровая Санькина мать.

Что она им говорила, Санька не знал. Только когда температура спала, мать, уходя на работу, разбудила сына, взяла ремень, но, поглядев на сидящего в кровати Саньку — худого, прижимающего к груди одеяло, заплакала и бросила ремень.

У неё, как у многих, жизнь делилась на “до войны” и “после”. До войны был муж — Санькин отец: статный, чернобровый, компанейский мужик. Несмотря на молодость — ушёл на фронт, когда было двадцать семь лет, его уважали за рассудительность и здравую уёртость. Если Николай, разнимая перепивших, упирался насчёт того, кому пора домой, мужики с шумом, скандалом, но подчинялись. Сам он пил, как все, однако головы не терял, что нравилось некоторым соседским женщинам.

С войны Санькин отец не пришёл, и мать, через годы, стала пробовать, как говорили уличные товарки, с кем-нибудь сойтись. Она была ещё красива. Овальное лицо со смугло-матовой кожей, чёрные заметные брови над тёмно-карими большими глазами, прямой нос с подрагивающими ноздрями и когда-то пухлые, а теперь всё чаще сжатые губы, похоже, привлекали мужиков.

Один поселился у них, когда Санька пошёл в первый класс. Взятся приводить в порядок дом: перекрыл крышу, наделал в чулане полки, пристроил

к дому веранду. К Саньке относился, как к помощнику: дай молоток, принеси гвозди, поддержи доску. Был малоразговорчив, погружён в какие-то свои тяжёлые мысли. Что они тяжёлые, видно было по тому, как постоянно хмурился, когда его не замечали; при оклике матери вздрагивал, не сразу возвращался в реальный мир.

Однажды Санька стал свидетелем припадка. Мужик упал на пол, руки ноги затряслись, потом вдруг тело выгнулось дугою вверх.

Санька перепугался, испугалась бабка. Через некоторое время мужик с чемоданом и вещмешком ушёл.

Потом у матери была ещё попытка. В дом зачистил чернявый, с пышным, в завитках, чубом майор. Саньке он нравился: гладко бритое лицо со шрамом на левой щеке, скрипучие, зеркального блеска сапоги, пахнущая кожей новая португеза. Особенно тянуло потрогать поясной ремень — с аккуратными дырками и жёлтой латунной пряжкой. На ремне крепилась такая же новая кобура — её Санька побаивался.

Как-то вечером майор проходил мимо Саньки в горницу — там они с матерью подолгу были одни, занавесив дверной проём одеялом из шинельного сукна. Вдруг остановился, сделал указательный палец пистолетиком и приставил к виску пацана. “Бах!” — громко произнёс прямо в лицо Саньке и, усмехнувшись его испугу, скрылся за одеялом.

Через какое-то время мальчишка забыл эту странную выходку. Но её видела бабка. Однажды ночью, когда майор ушёл, Санька проснулся от голосов бабки и матери.

— Дело, конечно, Зинк, твоё...

— Моё, моё, мама. Тебе никто не понравится.

— Я об твоём сыне думаю. Он и так обделённый — отца нету...

— Вот и будет отец.

— Как у Славки Сазонова?

— А чем Иван плохой? Всё в доме есть, несёт в дом откуда только может... Славка смотри в какой рубашке.

— Ты не на это гляди, Зинка. Для Ивана Славка чужой... А это в рубашку не спрячешь... Бедокурит пацан почему? Никому не нужный... Матери не нужный... тем боле хахалю. Совсем стал шпана... и нашего тянет.

— Нашего, мама, не затынешь. Он сам кого хочешь свернёт. Упрётся, как бык.

— Вот-вот. Потом не своротишь... На кривую дорожку уйдёт — умоешь слезьми. Думаешь, счастья тебе не хочю?

— Не хочешь, мама.

— Тебя он будет устраивать, а сын твой ему не нужен. Кому нужен чужой ребёнок? Он к нему давеча палец приставил — вот так! и стрельнул.

— Да шутка это! Санька ему по душе. Когда мужчина в доме, с пацана есть кому спросить. Опять вон чего натворил. С вареньем-то...

На этих словах Санька стал снова засыпать, и даже история с вареньем не взволновала его. Засыпая, он понял, что майор бабке не нравится, а это в глубине чувств устраивало и его. Когда он видел, как мать меняется, стоит появиться майору — вся тает, смеётся, ходит, играя бедрами, внутри начинало копошиться что-то нехорошее.

После разлада с майором мать стала реже смеяться, от углов плотно сжатых губ опустились книзу складки неуходящей печали. Ей хотелось нравиться, обнимать самой и быть обнятой — в тридцать один год женщина, как высшей спелости абрикос: кажется, не ткни даже, а только дотронься пальцем — и брызнет сок. Но мать, при молчаливом согласии бабки, уверялась в мысли, что, получив счастье для себя, она, быть может, отнимет его у сына.

Надо сказать, не одна их семья жила без мужика. Как война покосила мужчин, можно было видеть даже по соседям: хоть ближним, хоть дальним. Редко у кого из мальчишек был отец. Целы остались, да и то раненые, братья Плугины: Гаврила и Яков. На радостях каждый после войны постарался “настрогать” к довоенным по несколько ребятшек. Сохранился отец у Славки Немца — был вроде санитаром. С отцами ходили в баню ещё несколько ребят. Большинство же росло в женской среде — с матерями и баб-

ками. Скорее даже с бабками — матери с утра до ночи пропадали на работах. А бабок только младшие побаивались. Кто постарше, держались снисходительно, полагая, что этих непонятливых, мало расторопных пожилых женщин можно без труда провести.

Саньке надоело, что бабка не уходит. Он решил подтолкнуть её. Повернувшись к окну, вдруг расширил глаза, словно увидел что-то невероятно захватывающее. В другой раз любопытная бабка непременно клонула бы: “Кто там?”. А тут с лукавой усмешкой продолжала глядеть на белобрысого худого внука, ожидая, что будет дальше.

— Явился. Не запыхался, — произнёс Санька обычные бабкины слова, какими она встречала его с улицы. Реакции снова не было никакой. Тогда внук выложил последнее оружие:

— Вовка чёй-то в сарай пошёл.

После этих слов бабка встала, понимающе глянула на него и вышла. Санька убрал с листка кулак с мякишем, стал перечитывать последние слова. Они ему не понравились. Зачем брать рогатку? Воробы, что ль, большие пацаны? По одному их можно кулаками отметелить. Он хотел зачеркнуть ненужное предложение, но вспомнил, что учительница запрещала делать это. Надо было ошибочно написанные слова взять в скобки.

Писать Саньке расхотелось. За окном млея август, самый конец месяца. В избе было душно, но прохладней, чем на дворе. Мальчишка разморённо смотрел на тетрадный листок: новые слова не приходили. Да и большие пацаны уже не казались такими врагами, как некоторое время назад. Витька Анисимов — Заика, Санькин сосед, три дня назад дал ему червей на Волге. Генка Слесарь позавчера отобрал “чеканку” — кусочек меховой шубки со свинцом, но поиграл и отдал. Правда, толкнул, гад, в спину и ни за что дал поджопник — ногой по заднице, когда Санька убежал. Нет, надо их по одному лупить.

Поняв, что слов для продолжения не найдётся, агитатор задумался: ставить или не ставить фамилию. Поставив её, он сразу выдавал себя, а что за этим будет, если не поддержат свои пацаны, Санька представлял. Но не ставить — все подумают: он трус. Откуда все узнают, почему подумают именно на него, Санька даже не раздумывал. Он это знал сам, и того было достаточно. Макнув перо в чернильницу, он опять задумался. Как написать? Александр Разин? — так учительница велела писать на тетрадках, но на улице его таким никто не знал. Санька Разя — звали малые и большие. Нет, клички не будет, подумал Санька и вывел подпись: С. Разин.

С листком и хлебным мякишем он вышел на улицу. Знойное марево стояло, не шелухнувшись. Сквозь него очертания дальних домов, чахлые деревья и даже забор из редких досок метрах в пятидесяти виделись дрожаще-расплывчатыми, будто через слой прозрачной воды. Санька экономно разжевал часть мякиша, прилепил воззвание к столбу и, быстро проглотив остатки хлеба, пошёл к своему лучшему другу Шурею договариваться, кто за кем зайдёт перед рассветом, чтоб отправиться рыбачить на Волгу.

\* \* \*

Спать летней ночью на дворе — самое милое дело для жаркого степного Нижневолжья. Днём солнце палит — спрятаться некуда. Даже тень от редколистных акаций и клёнов не спасает. Зато вечером, после заката, всё начинает приходить в себя. Свежеет воздух, цветы душистого табака, высаженные бабкой вдоль дорожки к калитке, пахнут всё острее и волнительней. Поскольку месяцами держится сушь, комаров в городе ночью нет. Не только пацанва, многие взрослые хозяева частных домиков снят у себя во дворах, соорудив лежанку в укромном месте, чтоб и с улицы не было видно, и раннее солнце не будило.

Саньке ещё тот, припадочный мужик поставил в углу двора, под клёном старую железную кровать. Мальчишка ложился, когда совсем темнело; лежал сначала на спине; сквозь неподвижно висящие листья молодого клёна искал какую-нибудь звезду, не отрываясь смотрел на неё; если слабый вете-

рок сдвигал листья и закрывал звезду, он находил взглядом другую, с беспокойством думал об этих переливающихся огоньках: откуда они взялись? куда деваются днём? можно ли до них долететь на самолёте? И, сам не замечая как, засыпал.

Если за Шуреём или кем-то другим должен был заходить он, будила бабка. На этот раз была его очередь. Бабка с вечера сложила в тряпочную сумку немного хлеба, помидоры, огурцы, луковицу. В спичечный коробок насыпала соль.

В ту же сумку Санька сунул завёрнутую в тряпку банку с червями, взял две удочки и, бодрее от ночной прохлады, а главным образом — от предстоящих мгновений рыбацкой страсти, торопливо пошёл за Шуреём.

Волга была недалеко. Она в этом городе повсюду была близко. Растянувшийся по реке на десятки километров город, повторяя все её изгибы и повороты, представлял собой не сплошь застроенную территорию, а прерывистую цепь отдельных посёлков. Только в центральной части город был относительно широк, да и то неохотно отодвигался от реки. Все остальные районы-посёлки, словно боясь засохнуть в выжженной степи, узкими полосками улиц прижимались к Волге. В одних местах улицы обрывались огромными глубокими оврагами, которые начинались далеко в степи и доходили до Волги. В других — сама степь отделяла посёлки один от другого, двигиваясь полынными бурями языками до волжских обрывистых берегов.

Волга подкармливала некоторую часть городского люда. Главным образом тех, кто ещё или уже не попадал в трудоспособный возраст. Хотя и вполне работные мужики приходили с удочками на Волгу. К воде тащила страсть, другим непонятная и, на взгляд некоторых, недостойная взрослых людей. Иной лучше мешки будет таскать на горбу, чем пялить глаза на поплавок.

Но кроме страсти был улов, что по голодному времени имело немало важное значение. Кто поопытней, приносил крупных язей, сазанчиков, подлещиков. Мальцы ловили соответствующую рыбу: уклейку, верхоплавку, которую всю скопом называли “чеханда”. И хотя рыба была мелкая, клевала она так бешено, что ловили её сотнями и возвращались домой, увешанные серебристыми гирляндами. Бабки делали из “чеханды” котлеты или жарили целиком, не чистя и не потроша.

“Чеханду” ловили с берега. Крупную рыбу брали с плотов. Каждую весну, вскоре после ледохода, откуда-то с верховьев приземистые пузатые буксиры тащили огромные “кошели” из брёвен. Плоты причаливали к берегу, привязывали проволокой к вбитым в землю кольям. К причаленным подгоняли новые. Через некоторое время бревенчатая территория разрасталась вширь и в длину, вытягиваясь вдоль берега по воде на сотни метров. Брёвна не плавали каждое само по себе. Они были связаны да к тому же навалены в два-три слоя. Между плотами было много “окон”. В них рыбаки опускали удочки.

Когда Санька с Шуреём подошли к Волге, на плотях уже сидели вразброс люди. Некоторые, похоже, ночевали здесь — говорили: ночью берут сомы, крупный сазан. Другие, видать, пришли недавно: готовили удочки и пригнетывались. Шурей, такой же как Санька, тощий, но только смуглый, цыгановатого вида, с чёрными волнистыми волосами, показал на двух рыбаков. Санька глянул, дернул ноздрями: на их прикормленном месте сидели большие пацаны — Толян Бархотка и Гешка Табак.

— Говорил тебе: не надо червей кидать! — звонко сказал Санька вроде как Шурею, а на самом деле для захвативших место. — А ты: прикормим! Завтра опять сюда сядем.

И не давая опомниться удивлённому Шурею: тот ничего такого вчера не слышал, Санька, уже глядя на больших пацанов, продолжал:

— Сели... Гешка! Это наше место! Не знай скоко червей кинули.

— Вали, вали отцеда, Разя, — приподнял задницу Табак, показывая, что хочет встать.

— Пойдём, Сань. Пошли вон к Петровичу поближе.

— Уведи его, Шурей. “Наше место...” Твоё место на кладбище. Щас наркормим червями.

— Кончай галдеть! — негромко, но сурово одёрнул сидящий метрах в двадцати мужик в соломенной шляпе. Ребятишки молча подошли к нему.

— Здрассьте, Николай Петрович, — тихо сказал Санька. Расстроено добавил:

— Наше место заняли. Мы там кинули прикормку. Червей кинули — страсть.

— Не переживай. Вон в то “окно” бросайте. Я туда с вечера опустил в сетке жмых. Здесь тоже привадила.

— И как? — шёпотом спросил Шурей. Петрович поколебался, но всё же встал, прошёл по брёвнам к небольшому “оконцу”, поднял кукан. Ребятишки округлили глаза. На кукане кувыркались два больших сазана.

— А там язи, — показал на другой просвет в брёвнах Петрович. — Хорошие тоже. Хозяйке будет радость. Но эти — поросята.

Он был коротконог, головаст (соломенная шляпа — размером с рыбацкий котелок), крепок телом, хотя говорил ребятам, что уже на пенсии. Санька видел на своей улице пенсионеров. То были измождённые старики, с морщинистыми лицами, с руками цвета огородной тёмно-коричневой земли, по которым, как реки по карте, разбегались вздутости вен.

У Петровича лицо тоже было бурое, а главное — всё в чёрных точках. Когда Санька, стесняясь, спросил, отчего это? — Петрович коротко ответил: уголь. Он был шахтёром в Донбассе, рассказал, что завалило взрывом. После этого досрочно отправили на пенсию.

Они сели на прикормленное Петровичем место. Закинули удочки. Подражая взрослым, стали доставать из сумок еду — некоторые мужики уверяли, что голодного рыбака рыба не уважает. Но не успели съесть и по полному подра, как поплавок на удочке Шурея медленно пошёл в воду. Шурей подхватил удилице. Кончик согнулся, и через несколько мгновений над брёвнами затрепыхал крупный язь. Санька в зависти облизнул враз пересохшие губы.

— Везёт...

— Как утопленнику, — боясь сглазить, бесцветно пролопотал чернявый, хотя от радости сердчишко клокотало в груди.

Но тут и у Саньки поплавок дрогнул — раз, другой, мальчишка схватил удилице, оно напружинилось от чего-то тяжёлого в глубине, но через миг леска ослабла.

— Й-ех ты! — выдохнул Санька. — Сорвалась!..

— Котора не бралась, — насмешливо произнёс подошедший Петрович. — Ну, ладно, ладно: бралась. Эт я так: тебя поддеть. Похоже, сазан.

— Откуда видно?

— Хороший рыбак должен по клёву знать, что рыбу сазаном звать.

— Аж руки трусятя.

— Я вам оставлю гороху. Мне домой пора. Сыро ночью на плотях. Вот так насаживайте.

Шурей не стал менять насадку — рисковать он не любил. Однако Санька вытащил одну удочку и нанизал на крючок распаренный горох. Он вообще легко менял привязанности. То ему хотелось стать машинистом, и он ходил к маневровым путям, сажился на выжженный пригорок и во все глаза смотрел, как ездят туда-сюда паровозы, собирая одиночные вагоны в состав. То загорелось быть моряком. Увлекался он сильно, как бы даже не по-мальчишечьи, однако вскоре ему начинало нравиться другое, и он поворачивался туда. Может, от этого был неусидчив, не мог долго заниматься чем-то одним, и мать удивляло, как это такая непостоянная натура выдерживает долгое сидение над поплавком.

Но в Саньке одновременно уживалось и тупое упрямство. Шурей поймал ещё одного язя — меньше первого, а у его белобрысого друга поплавки стояли, как впаянные в воду. Наконец, на той удочке, где был распаренный горох, поплавок качнулся, плавно пошёл вбок и одновременно в глубину. Мальчишка коротко подсёк и чуть не упал в воду. Вслед за подсечкой удилице потянуло вниз, словно там, в глубине, за леску зацепилось бревно, плывущее по течению.

— Шурей, помоги, — просипел Санька. Но в этот момент рыба дёрнула, кончик удилица нырнул в воду, однако Санька сумел приподнять его. Так



они боролись несколько минут — мальчишка и рыба. Руки у Саньки стали уставать, а ему только раз удалось подтянуть рыбину к поверхности. Увидев, как сверкнул большой золотистый бок, он решил: будь что будет — и схватил леску рукой. Мгновенно потянул её и выбросил на плот огромного сазанищу. Упал на него животом, зажал между брёвнами. Шурей быстро, как они делали с крупными окунями, вдавил пальцы в сазаныи глаза; тот отчаянно забился, но цыганистый мальчишка не отпускал, а всё давил и давил.

Пока Санька прижимал рыбину животом, Шурей сбегал на берег, нашёл кусок проволоки.

— Бархот спрашивает, чево мы прыгаем. Я сказал. Они такого, Саньк, точно не видели.

Санька с раскрытым ртом, выпученными глазами только покивал. Он не мог даже говорить.

Солнце поднималось всё выше, становилось жарче. Часа через два ребятишкам надоело ловить, и они собрались домой. Большие ещё сидели. Когда малые проходили мимо, Гешка Табак остановил:

— Чёй-т у вас там за звери?

Выложил Шуреев улов на его тряпочную сумку: три язя, одного подлещика. Протянул руку к Санькиной сумке, но тот почувствовал неладное и отвёл руку с тяжёлой ношей назад.

— Давай, давай, Разя! Не учишь сопротивляться. О-о! Вот это сазан! Так... Толян, на тебе два Шуреевых язя, а я возьму одного... Разиного сазана.

— Возьми хоть одного, Геша, — заныл Шурей.

— Пусть идут, — подошёл Толян Бархотка. Он с интересом смотрел на большого сазана, которого на проволоке держал Табак. Видно было, что Толян завидует ребятишкам, но ему жалко было обижать их.

— Ты, если хочешь, отдавай своих Шурею, — недобро покосился на Бархотку большеротый, с треугольным лицом Табак. — Мне сазан нравится.

— Отдай рыбу! — подступил к нему Санька.

— Пошёл, пошёл отцеда, — толкнул его в грудь Табак. — А то всё за беру.

— Табак! Сlopал пять собак!

— Ах, ты гад!

Гешка быстро положил сазана на брёвна, чтоб иметь свободные руки. Но не успел он разогнуться, как Санька со всей силы толкнул его. Табак поскользнулся и задницей полетел в воду.

— Толян! Рыку! Толян! — заорал, хлебая воду, Гешка. Санька схватил за проволоку сазана и бросился бежать. Следом за ним со своей сумкой, в которую успел сгрести улов, летел Шурей.

Они перешли на быстрый шаг, лишь когда поняли, что за ними никто не гонится.

— Я... написал, — хватая ртом воздух, выговорил Санька. — Надо всем... нашим... надо собраться... по одному отлупить больших.

— Не всех... — также часто дыша, возразил Шурей. — Бархотка... ты видел, какой...

— Про него я не писал... Щас прочитаешь... вон на том столбе... прилепил вон там.

Но то, что Санька увидел, заставило его сжаться от тревоги. Листка на столбе не было.

\* \* \*

К вечеру у Разиных готовился “праздник живота”. На печке в летней кухне (она представляла собой навес на четырёх столбах; сквозь него проходила труба печки; в стороне от печки — простой дощатый стол и две длинные скамьи) варилась уха; в сковороде едва умещались несколько кусков сазана. Бабка переворачивала их, качала головой, взглядывала на Саньку и в который раз спрашивала:

— Как же ет ты ево? Пряма боров...

Внук принимался рассказывать, но бабка то уходила за луком в огород, то просеменила в дом за мукой, и дальше слов: “А он ка-ак рванёт!” Санька продвигаться не смог. Из него пёрла гордость — ведь был и опасный момент, когда он прижимал скользкого сазана пузом к брёвнам... Рыбина запросто могла острым спинным плавником распороть ему живот. Однако Санька не побоялся (впрочем, если бы признался сам себе, то вспомнил, что ни о какой опасности подумать не успел). Была ещё история с Табаком, но тут мальчишка не знал, надо ли бабке говорить об этом?

Он колебался, а рассказали другие. Поздно вечером — уже солнце свалилось к горизонту, пришла с работы мать. Удивлялась, слушая торопливый, полный восклицаний рассказ сына, со скупой улыбкой похвалила: “Кормилец”. В это время калитка открылась, и во двор заглянул опрятно одетый мальчишка.

— Заходи, Юра, — позвала его мать.

— Да я, тётъ Зин, к Сане. Сань, ты как? Завтра на плоты. Пойдём?

За спиной Юрки Маркиза показалась ещё голова.

— Ты чего прячешься, Слава? — спросила мать стоящего за Юркой пацана в новой розовой рубахе.

— Не-е. Я тоже к Саньке.

Славка Сазан смело вошёл во двор.

— Нам с Маркизом Шурей всё рассказал.

— Что всё? — насторожилась мать и перестала расставлять алюминиевые чашки.

— Ну, как Санька сазана аграменного поймал.

— А-а, — успокоилась мать. — Вон он. На сковородке. Сейчас тоже попробуете.

— А Табак хотел отнять.

— Но Санька толкнул его в воду, а сазана отнял, — вставил Маркиз.

— У Гешки Табака? — нахмурилась мать. Связываться с этим четырнадцатилетним подростком на улице избегали. Отца не было, а мать — продавщица пивного ларька “Бабы слёзы”, никак не могла быть для сына авторитетом.

По документам Гешка был Геннадий Прибылов. Но это знали только взрослые, да и то не все. Для пацанов, а через них — для родителей существовала кличка: “Табак”.

Разные обстоятельства рождают уличные клички. Самые простые и безобидные идут от фамилий. Разя, Силка, Кутя, Молчан. Они понятны: Разин, Силкин, Кутьин, Молчанов. Не слишком далеко ушла от фамилии кличка Славки Сазонова — Сазан. Но многие клички к фамилиям не имели никакого отношения. Братья Плугины — Гаврила и Яков — называли старших сыновей — ровесников одинаково: Кольки. Чтобы их различать, Кольку, который от Якова, улица стала звать Лизкин. По матери. Она была Елизавета.

Это хоть как-то объяснялось. Но почему его двоюродного брата, Кольку — Гаврилиного сына, а затем и всех остальных в Гаврилиной семье стали звать “Москвой”, просто так объяснить было невозможно. Оказывается, мать постаралась. Один раз за всю жизнь Гаврила Плугин с женой Валентиной побывали в Москве. И были-то проездом: делади пересадку с поезда на поезд. Однако с той поры улица от Валентины только и слышала: “Москва”, “Москва”. Чуть что — Валентина сразу: а в Москве вот так-то. Как будто всю жизнь там прожила, а сюда на день заехала. Соседские бабы и мужики сначала слушали с интересом. Потом стали зло посмеиваться: тоже — “Москва” нашлась. Наконец, старшему сыну кто-то прилепил: Колька Москва. И намертво. А заодно всей семье. Теперь Гаврила не Плугин, а Москва. Валентина — эта без всяких яких Москва. Младшие дети — Верка и Вовка — тоже Москва.

Толян Бархотка заимел кличку от бабки. Мягкая, округлая, не крикнет, тихо улыбнётся. “Ты, Прасковья Иванна, душевная”, — хвалили её соседки. А одна без злой мысли добавила: “Прям бархотка”. То есть как полоска

бархата, которой наводят глянец на сапоги. С того и пошло. Прасковья Ивановна — Бархотка. Дочь её — Муся, спокойная, незлобивая женщина — Бархотка. Четырнадцатилетний внук Анатолий, невысокий, но сильный и тоже спокойный подросток — Бархотка.

А Юрка Маркиз получил кличку, можно сказать, персональную. Никаких намёков ни в роду, ни в фамилии не было. Фамилию имел Кадильников. Жил на соседней от Разиных улице в большом и богатом на вид деревянном доме под железной (что было редкостью) четырёхскатной крышей. Как дом уцелел во время неистовой сталинградской бойни — уму непостижимо. Мать Юркина работала архитектором. Многие в округе были людьми простыми и, не понимая, что означает это слово, безбожно коверкали его. Но женщину уважали. Даже ребятишки не могли её назвать тетя Шура. Обращались, старательно выговаривая слова, — Александра Фёдоровна.

Улица глухо поговаривала, что Юрку она родила без мужа — “прижила”. Видимо, чтобы не иметь никаких напоминаний об отце ребёнка, отчество сыну дала по имени деда: Фёдорович.

Потом вышла замуж — за человека своего круга. Жили закрыто, большой семьёй: молодые, дед с бабкой, дядя и тётки. Из внушительного многокомнатного дома, украшенного редкими для степного города резными наличниками, выходили в большой сад, обнесённый высоким плотным забором. Юрку на улицу выпускали строго “по времени”. Одевали его (насколько это было тогда возможно) со вкусом. Не забывали вовремя постричь. В поведении учили хорошим манерам. Улица это заметила и прилепила кличку: “Маркиз”.

Большинство ребят на клички не обижались. Разве что младшему иногда дадут по загривку, чтоб не позволял себе, что старшему разрешается, и знал, как правильно зовут. Однако Гешка Табак, услышав кличку, покрывался белыми пятнами. Его треугольное лицо — внизу шире, ко лбу уже — становилось застывшим, как маска. Только бледно-голубые глаза белели, будто изнутри их выжигал мгновенный жар.

Генкиного отца посадили за грабёж с убийством. Посадили давно, перед войной. Дали двадцать лет. Он долго не писал; думали — пропал. Потом вдруг пошли письма. Редкие — и всё больше о сыне: как растёт, на кого проявляется лицом. Мать Генкина — Екатерина, на несколько писем ответила, а затем перестала. Работала она в пивной. Домой приходила поздно — оставалась в пивной после закрытия. Время от времени приводила мужиков в дом — тогда Гешка с бабкой, высушенной старухой со скорбным от мук лицом, уходили ночевать в саманную кухню.

Екатерина стала пить, закурила, да так втянулась, что без папироски её уже и не видели. Что бы ни делала: наливала пиво в гранёные кружки, подметала пол в пивной, готовила еду дома — вокруг худого, желтоватого лица клубился дым. Санькина бабка однажды смотрела-смотрела на пыхающий изо рта соседки дым, плюнула и громко сказала: “Табатирка ты, Катька. Был бы живой отец — палкой бы в рот дым забил. Табачка ты просто...”

Санькину бабку одни называли ловкой на язык, другие — меткой. Свою малограмотность она компенсировала природным умом и широко известным в округе острословием. “Табатирка” — имелось в виду “табакерка” — некоторые мужики носили в них нюхательный табак. Но улица поняла суть слова. С той поры легла на Прибыловых кличка “Табак”.

С материнскими “хахалями” Гешка дерзил, вызывая ответную злость. Один даже замahнулся на подростка, но тот схватил кухонный нож и выбросил руку вперёд. Хорошо, мужик был не совсем пьяный. Увернулся. Однако руку ниже локтя порезал. Мать с визгом бросилась на Гешку, колотя его ручкой веника. Сын выскочил, сутки был на Волге, на плотях. Вернулся только ко второй ночи к бабке в кухню.

После того случая с Гешкой стали осторожничать даже его погодки. А тут малый чуть не утопил его. Санькина мать неодобрительно поглядела на сына: что-нибудь да отчебучит, куда-нибудь да вляпается. Хотя разве бы она сама стерпела? Глаза бы выцарапала.

— Ты пока побудь дома, — сказала она сыну. — Бабушке поможешь.

— Ой, дел-то, Зинк, скоко! — зацепилась бабка. — Одной лебеды набирается гора.

Саньке не понравилось такое будущее, но огрызаться он не стал. После ухи, жареного сазана (досталось мало, но могло и этого не быть) ребятишки осоловели. Над керосиновой лампой и вокруг неё мельтешили бабочки. Неяркий свет убаюкивал, и у них слипались глаза.

Вдруг Санька вспомнил про сорванный листок. Вздрогнул, толкнул локтем Сазана: “Пойдём выйдем”.

— Ты куда?

— Я, мам, недалеко. За калитку ребят доведу.

На улице присели на корточку. Санька рассказал, что было написано в его листовке. Товарищи согласились: большие пацаны — гады. Не все, конечно — тут у каждого нашёлся свой хороший, но в целом — что-то надо делать. Сумеречная пыльная теплота остывала, и выползающая из близкого глубокого оврага свежесть бодрила. Мышцы наливались силой, и уже хотелось вот так, втроём, отметить одного из больших пацанов. Сазану — Молчана. Саньке — Табака. А Маркизу — всё равно кого.

Только как это сделать, они не представляли.

\* \* \*

Младшая бабкина дочь Антонина давно жила “отрезанным ломтём”. К матери и сестре тянулась, по-уличному говоря, роднилась, но из-за мужа, которого бабка недолюбливала, бывала в отчем доме нечасто. Дети — те постоянно пропадали у бабушки и тётки Зины. Но последние два дня и их не было, а бабка вдруг захотела дать в то семейство рыбы.

— Ты бы, Сань, слётал к тётке, — предложила она внуку. Тот аж просветлел худеньким лицом. Выдирать на жаре одеревеневшую траву было поперёк горла.

Тётка жила не близко. В нескольких километрах от центрального ядра города, в гольной степи, начал застраиваться новый посёлок. К нему вела извилистая, накатанная дорога, даже пустили недавно автобус, но многие ходили в центральную часть гораздо прямей через овраг.

Дома у тётки был муж — дядя Ваня. Носатый, с маленькими голубыми глазками, с редующими светлыми волосами, он, видать, недавно проснулся — отсыпался после ночной смены на заводе. Раньше работал в милиции, но чем-то прошттрафился, и его выгнали. Увидел кусок сазана, растянул в добродушной улыбке большие губы.

— Либо ты отличился?

— Я. Сперва поймал, потом отнял.

— У кого? У кошки, што ль?

Санька недовольно хэкнул.

— У Табака! Скажешь: у кошки. Они у нас чево увидят — могут отнять. Я его в воду столкнул.

— Надо было сазаном по морде.

— Тебе легко говорить. Ты вон какой. Они большие. Такие гады!

— Учись не гнуться, Санька. Напролом, конечно, не лезь. Башку в петлю не суй. Но сопротивляться надо до последнего.

Он помолчал, что-то вспоминая.

— А если припрёт, то дальше последнего. Короче: держи хвост пистолетом.

Это было его любимое выражение, которым он всегда напутствовал Саньку. “Тебе легко говорить”, — думал мальчишка, вприпрыжку удаляясь от крайних домиков посёлка. Дорога к оврагу шла под уклон, и любой пацан не признавал здесь обычного шага.

Овраги — зло беслесного степного Нижневолжья. Вроде бы только вчера на уклонистой складке степи дождь промыл небольшую канавку. Но не побывал человек в этом месте некоторое время — и вдруг видит: где змеилась канавка, через которую он запросто мог перешагнуть, земля прорезана

приличным овражком. Ещё через какое-то время появился — и в изумлении открывает рот. Перед ним глубокий — пару изб друг на друга можно поставить — овражина.

Да что про степь говорить! Город был весь изрезан на куски оврагами. Чем ближе к Волге, тем глубже они становились. Уходя в степь, мелели, но зато буйно разветвлялись. Те, кто видел степь в этих местах сверху, с самолёта, говорили, что разветвления похожи на плохо зажившие шрамы от рваных ран.

Овраг, через который ходили в “город” жители нового посёлка, по очертаням напоминал гигантскую рогатку. Возле Волги — огромная “ручка”, а примерно километра через два начиналось разветвление. Было оно правильное, симметричное, словно не природой, а человеком сделанное. На мысу, образованном двумя рукавами, подалее от взрослых глаз, в последнее время стали собираться большие парни. Играли в “очко”, в “буру”. На папиросы, на деньги. Поблизости, словно притягиваемые магнитом, вертелись, кто поменьше. Глядели, как режутся в карты, играли в “чеканку”, гонялись друг за другом по выжженной траве, ожидая своей очереди в игре.

Когда Разин шёл к тётке, на мысу никого не было. В глубине души он надеялся, что и на обратном пути будет то же. Но едва тропинка вывела его на “язык” между оврагами, который заканчивался мысом, как Санька увидел тех, кого меньше всего хотел бы встретить. Его заметили тоже. Двое поднялись.

— Топай, топай, Разя, сюда, — крикнул Колька Москва.

— Сейчас убежит, — предположил стоящий рядом Гешка Табак, приготовившись в случае чего броситься за врагом.

Но Санька понял, что убежать не удастся. Обречённо и в то же время весь напряжинувшись, он шагал к кучке ребят. Табак выбежал вперёд и схватил Саньку за ворот рубахи.

— Ну, Разя, сейчас мы тебе напишем. Ты, оказывается, писать умеешь!

На мысу играли и Санькины товарищи: Шурей, Маркиз и Сазан. Как только Саньку окружили большие пацаны, Шурей бросил “чеканку” и поспешно проговорил компаньонам: “Я пошёл домой. Мать велела”. “Какая там мать”, — кисло подумал Санька. Шурея никто не искал до самой ночи, а тут вдруг “мать велела”.

Прекратили играть и Маркиз с Сазаном. Но не отошли. Стояли поблизости.

— Значит, нас можно по одному метелить? — снисходительно спросил Москва.

— Он чё, гад, написал! — протиснулся в круг Генка Слесарь. — Фашисты... Ты кого фашистом обозвал?

Отец Генки Слесаренко погиб. Набитый людьми поезд, в котором мать с Генкой и его младшей сестрой уезжали в эвакуацию, бомбили немецкие самолёты. Осколок попал девочке в левую руку ниже плеча. С того момента рука у Юльки — красивой, чернобровой, как брат, девчухи — болталась почти без всякой пользы.

— Д-да н-н-надо ему в-в морду дать, — не сразу выговорил Витка Анисимов — Заика и ткнул Саньке кулаком в лицо.

— Вы чё, ребята! — крикнул Маркиз и бросился в кучу. — Санька не про то хотел сказать. Скажи, Славка!

Синие глаза Юрки Маркиза блеснули от возмущения, но голос испуганно задрожал. Стройненький, опрятно одетый, в новых сандалиях мальчишка готов был растолкать больших пацанов, чтобы освободить друга. Однако Сазан молчал и оставался в стороне. Зато часть круга тут же развернулась к Маркизу. Пока трое держали Саньку Разина, остальные стали лупить Юрку. Сазан мгновенно сообразил и бросился по тропинке в овраг. За ним, подгоняемый пинками и криками, побегал Маркиз.

— Та-ак, — опять снисходительно протянул Колька Москва, когда все снова повернулись к Разину. — Чё с ним будем делать?

Видно было, что никаких коварных намерений он не имел. Самое большее — хотел поугатать. Потом посмеяться над испугом новоявленного бун-

товщика. Его настроение поняли ещё несколько пацанов. Толик Бархотка улынулся и, подыгрывая Москве, сказал:

— Казнить надо. За призыв к восстанию.

— Казнить! Казнить! — загалдели все, хотя их худые неумытые физиономии ясно показывали, что большинство забавляет такая игра.

Вдруг весь этот разноголосый гомон перекрыл визгливый крик Гешки Табака:

— Повесить!

Никто не заметил, как он куда-то сначала исчез, а теперь снова пробирался в центр круга, к Саньке. В руке у Табака была верёвка.

— Повесить! Повесить! — обрадованно заорали Слесарь и Заика. Остальные не успели опомниться, как трое подтащили упирающегося Саньку к обрыву.

На голом мысу не было ничего, кроме выжженной травы. Витька Заика и Слесарь в недоумении остановились: на чём вешать-то? Но Табак понял их замешательство и, отпустив Санькин воротник, быстро-быстро заговорил:

— Щас петлю сделаю. Петлю на шею. Толкнём гада... конец у нас.

Саньку прошиб ужас. За всю короткую и пёструю жизнь у него никогда ещё не было такого страха. В кино видел, как вешали наших партизан и как их тела болтались потом на ветру. Когда был совсем маленьким, думал, что все эти действия происходят на самом деле с живыми людьми, там, **за экраном**; был убеждён, что процесс казни или убийства прожектором освещают с задней стороны экрана, и не мог понять, зачем люди соглашаются умирать. Раза два, во время показа фильмов на летней киноплощадке, где экраном была большая белая простыня, тайком проползал за экран, чтоб посмотреть, что там делают люди. К удивлению, никого за простыней не видел — с обратной стороны по экрану ходили те же люди.

Потом приблизительно понял, что такое кино, и перестал бояться за погибающих людей. Но тут всё было иначе. Вот сейчас повесят, и он никогда не увидит бабу и мать, никого вообще не увидит.

От этих представлений Саньку кипятком прожгла злость. Гад Табак хочет повесить! Санька напрягнул тело, топнул разношенным ботинком по пальцам босой ноги Заики, локтем ударил Генку Слесаря под дых и, оставая в их руках ключья истлевшей рубахи, снарядом понёсся на Гешку Табака. Перед самым врагом нагнул голову и на большой скорости влетел головой ему в живот. Табак хрякнул, упал на землю, корчась, закрутился по ней, не переставая сучить ногами. А Санька в два прыжка подскочил к обрыву и прыгнул вниз.

\* \* \*

Бабка поглядела на кровать, где лежал старший внук, и кончиком белого платка вытерла слезу. Мальчишка спал на животе — без трусов, без одежды, уткнувшись носом в стенку. Когда прибежал домой, бабушка обомлела. Лохмотья рубашки прилипли к изодранной в кровь правой лопатке. Стянула с внука штаны, а там вся изодранная до крови задница, икры ног. Бабушка долго промывала раны и царапины марганцовкой, потом смазывала их раствором календулы. Санька стонал, и бабушка, жалея мальчишку, гладила его, где не было царапин.

И всё же Саньке помогло, что обрыв в глубокий овраг был не отвесный, а выпуклый. Тормозя спиной и задницей по огромному глинистому пузу, пацан упал, как в подушку, в насыпавшуюся со временем сверху земляную пыль. Бежал, не чувствуя боли. Едва увидел бабушку, забился в рыданиях.

Это её потрясло не меньше, чем изодранная внукова спина. В последнее время ничто не могло заставить его плакать. Ни уличные драки, ни материна дупцовка. Уж как мать наказала за варенье, а всё равно слезы не пустил.

Бабушка вспомнила ту Санькину отчебучину и снова вытерла глаза платком. Каждый год, когда попевала вишня, она делала варенье. Лакомства выходило немного, и потому его старались растянуть хотя бы до конца зимы.

Как-то бабка пошла на базар, а Саньку оставила посидеть с приболевшим Вовкой. Старший сначала читал книжку, потом слонялся без дела по двору, затем бесцельно зашёл в дом. Вовка с блестящими от жара глазами сидел за кухонным столом, рисовал на тетрадном листке каких-то уродцев. “Это ты... А эт я”, — показал он брату. Санька скривился: что возьмёшь с больного? И вдруг вспомнил: утром, когда бабка подняла в сенях крышку погреба, на полочке под крышкой тускло блеснула банка с вареньем. “Вовку надо полечить”, — подумал старший. Он притащил двухлитровую банку на стол.

— Пробуй.

— Ой, вкусно, Сань...

— Ну, ты не сразу глотай! Много не дам... Нельзя... На ещё ложку. А это мне...

Когда кормилец опомнился, варенья в банке убыло почти наполовину. Санька с тревогой посмотрел на банку, измазанного брата и понял, что надо замечать следы.

— Гляди баушке не скажи, — строго предупредил Вовку. — Мы эт дело поправим.

В сенях зачерпнул из ведра воды, долил до самого верха банки. Размешал ложкой, облизнул её. Было сладко, но не так, как раньше. Чтобы довести содержимое до прежнего уровня, немного отпил жидковатой сладости и поставил банку на место.

Подмена продукта могла бы обнаружиться не скоро — летом варенье не трогали. Но через несколько дней бабка увидела, что бумага, закрывающая банку, вздулась пузырьём. В недоумении сняла её и ахнула. Вишнёвая жидкость шипела, пузырилась, била в нос спиртом. От сырой воды, от облизанных ложек то, что было вареньем, становилось брагой.

Тогда бабка едва оттащила дочь от внука. У матери как прорвалось что. Отлупив Саньку ремнём, она толкнула его в чулан.

— Смотри не выпускай! — истерично крикнула бабке. — Знаю тебя!

В чулане было темно. Слабый свет сочился только через щели между разошедшимися досками. Сколько времени не выпускать, бабка не знала. Будь это рядовой день, Санькина мать ушла бы на работу, и бабка сама разобралась, что к чему. Но оказия случилась в воскресенье. Мать оставалась дома.

Часа через два бабке стало совсем жалко внука. Излупленный, в темноте. Прижав губы к щели, она тихо проговорила:

— Саня, ты ба попросил у матери прощенья. Она у нас отходчивая.

Из чулана не последовало никакого ответа.

— Саньк, ты чё молчишь? Слышишь меня?

— Слышу.

— А-а, знаю... ты у нас слухмённый. Проси прощенья... Я позову её...

— Не буду, — донеслось из чулана, и бабка сразу представила, как он стоит там в темноте, насупившись, глядя исподлобья на щель между досками.

— Ни буду, — язвительно передразнила она. — Ласковый телёнок двух маток сосёт. А ты родную мать не хочешь попросить.

— Я не телёнок.

— Ну да! Ты бык упрямый! Мать правильно говорит, — уже сердясь заявила бабка. — Не хочешь — сиди там, как сыч.

Теперь, когда внук лежал испаряпанный, бабке стало неловко за тогдашнее своё раздражение. А от этого ещё виноватей почувствовала себя в последнем происшествии. Не посылала б к Антонине, ничего бы не произошло. Ни с Санькой, ни с дочерью Зинаидой.

Увидев вечером сына — вокруг глаза синяк, спина изодрана — мать даже не стала его расспрашивать. Знала: ничего не добьёшься. Бросилась к Сазоновым. Славка Сазан рассказал. “Саньку сначала хотели казнить, а потом Табак притащил верёвку”. — “Зачем?” — “Повесить, тётъ Зин”.

Мать вне себя от гнева помчалась домой. Их двор и двор Катьки Табатирки сходились задами. Пробегая по огороду, споткнулась о лопату. Схватила её и, подбежав к забору, стала колотить по нему.

— Катерина! Катька!

Она не знала, дома ли Гешкина мать: может, опять осталась в пивной. Бабке — Лукерье Павловне — по-уличному тётке Луше говорить было бесполезно. Мог выскокить Гешка, и вот тут бы Санькина мать отыгралась. Но из дома выбежала Табатирка.

— Ты чево, Зина, с ума сошла? Забор лупишь?

— Ах, тебе забор жалко? Где твой выbledок? Счас его спрошу!

— Глянь-ка, цаца майорская! — взвизгнула Катька. — Она спрашивать будет!

— Ты Саньку моего видела? Иди, посмотри! Твой кобёл хотел его повесить. Зарублю-ю падлу! Вот этой лопатой изрублю!

Катерина осела набок, словно ей подрубили ногу. Она никогда не видела Зинаиду Разину такой пугающе страшной. Даже в красноватом закатном свете было видно, как побелело матовое лицо; чёрные волосы без заколок то и дело сваливались на глаза, губы тряслись от ярости. Табачка поняла: сын опять устроил беду.

— Ой, што мне делать, Зина? — зарыдала она, схватившись за доски забора. — Нет его, поганца. Нет. Не знаю, как жить дальше. Вчера бабку толкнул — она лежит.

При виде Катерининых слёз Санькина мать стала приходить в себя.

— Сказала б тебе. Да ты всё равно не бросишь.

До этого она никогда не встревала в уличные конфликты сына. Считала: сами разберутся, и со взрослой стороны трудно понять, кто прав, а кто виноват. Но здесь дело выходило на убийство, и кого хотели убить — её сына! Зинаиду снова жиганул гнев.

— Уйми, Катька, своего...

Она хотела повторить: “выbledка”, но опомнилась.

— ...паразита! Укороти! Если чё с Санькой случится, я вас в клочки разнесу. Дом тебе подпало!

Но на этом дело не кончилось. Зинаида Разина сбегала ко двору Анисимовых. Грохотала щекоткой запертой калитки так, что в соседних дворах на заборах повисли любопытные. Витьку Заику дед упрягал в доме — на Зинаиду было страшно глядеть. Не то что попасть под руку, в которой она держала лопату. Дед Василий кое-как отбрёхивался, успокаивал соседку, но она пригрозила в случае чего Заику тоже изрубить.

До Слесаря на соседнюю улицу Санькина мать дойти не смогла. Возле калитки Гаврилы Плугина встала, как наткнулась на что, несколько раз раскрытым ртом рванула воздух и рухнула наземь, откинув в сторону лопату. Валентина Москва, стоявшая за забором, вскрикнула, выскочила на улицу.

— Беги к Марь Михалне! — скомандовала подбежавшему мужу.

Зинаиде дали нюхнуть нашатыря. Она вздрогнула, приоткрыла глаза.

— Чёй-т это со мной?

Гаврила, Валентина и присеменившая Санькина бабка Мария Михайловна довели Зинаиду до дома. Телефонов в частном секторе не было. Врача вызывали посыльным. Поэтому от всех болезней лечили самостоятельно. Зинаиде накапали и налили всяких успокоительных жидкостей. Она спала с вечера до утра. Уходя на работу, осмотрела спящего сына. Царапины стали немного заживать. “Как на собаке”, — улыбнулась мать и пошла на железную дорогу.

Ничего этого Санька не знал. Обработав ссадины и царапины, приложив пятак к синяку, бабка дала ему успокоительного. Но то ли переборщила, то ли внук так основательно отошёл от нервного потрясения, только спал он долго и глубоко. Сквозь сон услышал Вовкин голос. Младший внук требовал от бабки вырвать листок в “кетрадке”. Она шикнула на него: Саньку разбудишь, и увела малыша во двор.

Но старший уже совсем проснулся. Хотел повернуться на бок, сморщился от боли и вспомнил, что произошло. Воззвание не сработало. Теперь надо было по-другому отстаивать свое место на улице. Как? — он не знал, однако понимал: если сдастся, на улице не жить.

Через три дня Санька впервые вышел за калитку. До этого к нему приходили Маркиз и Сазан. Во дворе до опупения играли в “чеканку”. У Сань-



ки была самая лучшая: мех длинный, кусочек свинца удачно расплюснутый, размером как раз по коже. Игра заключалась в том, чтобы как можно дольше не дать этому меховому парашютику упасть на землю. Ухищрялись, как могли. Надевали на правую ногу вместо сандалия кед или ботинок. Потом кто-то пошёл дальше: вместо ботинка напялил валенок. Взрослому народу это смотрелось нелепо. Август, безветренный зной, воздух кажется расплавленным до густоты. И в этой жаре — мальчишка в трусах, с босой левой ногой, а на правой — валенок, подкидывает ногой кусочек меха со свинцом, шепча счёт: “сто двадцать два”, “сто восемьдесят пять”, “двести двадцать три”. При всей ловкости в ботинке столько не набьёшь. В валенке — доводили до полутысячи. Если “чеканка” падала, проигравший снимал валенок, ложился в жидкой тени клёна, положив под голову валенок, и ждал, когда подойдёт теперь уже нескорая очередь. При этом мысленно повторял за игроком счёт: на десятку-другую запросто могли смухлевать.

Первое время Санька кривился от боли: трусы елозили по глубоким царапинам. Но азарт брал своё, да и содранная кожа быстро заживала.

Однажды калитку открыл Шурей. Маркиз и Сазан лежали под клёном. Санька “чеканил”. Увидев Шурея, поймал “чеканку”, подошёл к недавно закадычному другу.

— Чево пришёл?

— Да вот... Может, на плоты?

— Иди, иди отцеда. Тебя мама ждёт.

Теперь, выйдя через три дня на улицу, Санька первого, кого увидел — Шурея. Он нёс кружку воды от дома Кольки Бурого к Поляне. Там полудежали, полусидели Колька Москва, Бурый, Гешка Табак и Витька Заика. Видно, Бурый посылал Шурея за водой для больших пацанов. Невдалеке от кучки бегали друг за другом, прыгали Славка Немец, Сазан, Маркиз. Большие играли в карты. Азартно вскрикивали, били картами о землю. Вдруг Заика увидел Саньку.

— Г-г-глянь, кто идёт!

Он не успел ещё выговорить, а все уже повернули головы в сторону приближающегося Саньки. Тот шёл прямо на картёжников, никуда не сворачивая.

Те, кто видел, как Разя в прошлый раз стремительно разделался с трюми, тут же вскочили на ноги. Один Колька Бурый остался полудежать.

— Здравствуй, Саня! — вкрадчиво проговорил Москва. — Давно тебя не видели. Ты к нам?

Санька напрягся.

— Нет. Вон к ним.

Ему едва удалось сказать это спокойно и сделать несколько шагов в сторону остановившихся своих сверстников. Но тут подскочил Табак, схватил за рубаху.

— А долги, Разя?

Санька резко вскинул левую руку, отбил руку Гешки от себя. Правую он держал в кармане стареньких, коротких штанов, из которых успел вырасти. Там, в потном кулаке, он сжимал большой ржавый гвоздь, острие которого специально точил всё утро на кирпиче. Санька обречённо и в то же время неколебимо знал: если Табак ударит, он его будет тыкать гвоздём до тех пор, пока не сойдёт с ног.

Табак не ожидал такой реакции. Он развернулся, чтобы ударить, однако между ним и Санькой, сделав быстрый шаг, встал рослый Колька Москва.

— Подожди, Табак.

Колька специально назвал его кличкой. Глянув в бледное лицо Саньки, на котором из чёрного синячищи блеснул дикий взгляд, он почувствовал, что этот пацан сделает сейчас что-нибудь невероятное.

— Пошёл отцеда, гад! — толкнул Табак Кольку Москву.

— Чево, чево? Ты кому говоришь, вонючий Табачина?

К ним подскочил Витька Заика. Ростом он был меньше всех своих сверстников, с лицом маленьким, вроде как усушенным, и если не предполагал рядом силы, в драку не встречал. Но с большим сладострастием и угодливо-

стью затевал её, когда видел, что это получит одобрение сильных, их поддержку и продолжение. Москву Заика не любил. Тот, в отличие от Гешки, самого Витьки, Кольки Бурого, продолжал ходить в школу.

— Г-г-геша, я щас в-выровняю... Б-б-будет д-два “фонаря”.

Заика до сих пор хромал — ботинок у Саньки был, как железный. Однако подбежать к Разину не успел: Москва выбросил ногу, и Витька со всего маху, плашмя распластался на пыльной земле. Теперь у Кольки Москвы было два врага, и неизвестно, как повернулось бы дело, если бы к Поляне спешно не подошёл Колька Лизкин — старший сын Якова Плутина. Он сразу понял, что двоюродный брат в опасности.

— Ну-ка, ну-ка! Чево прыгаешь? — оттолкнул он Заику. Лизкин, как и брат, был рослым, кулачистым.

— Пристали к Саньке Разе, — сказал Москва. — Ты куда, Разя? К Маркизу и Сазану?

Мальчишка кивнул. Решимость, страх, злость — всё это ещё кипело в нём; кулак, сжимающий гвоздь, одревенел. Встретившись взглядом с Табаком, он не отвёл глаза. Наоборот, ожёг того яростью и даже пожалел, что Москва не дал им схлестнуться.

И Гешка, похоже, уловил опасность. Подвигал тонкими губами большого рта, прищурил маленькие глазки, как бы показывая свою снисходительность.

— Ты, Колька, выбирай слова. У нас с Разей был свой счёт.

— Был да сплыл, — сказал вместо Москвы Санька. Не вынимая кулака с гвоздём из кармана, он двинулся к своим, застывшим неподалёку. На пути к ним по-прежнему стоял Гешка Табак. Саньке ничего не стоило взять малость левой и обойти его. Но он поддернул штаны, нагнул к земле голову — бабка говорила: набычился, и пошёл прямо. Ещё немного, и он бы наткнулся на Гешку. Но тот увидел неукротимую исподлюбную решительность и быстро отшагнул в сторону.

## Эпилог

Человеку всегда хочется узнать, что было потом. Но порой лучше не знать. Шурей — этот трусоватый весельчак, вырастая, начал пить. Рано женился. Родил двух красивых девчонок. По пьянке попал под трамвай — и насмерть.

Гешка Табак и Колька Бурый кончили жизнь в тюрьмах. Первый сначала сел за грабёж, второй — за драку. За что давали следующие срока, уже не знали и родные.

Молчан стал поваром, много лет ездил в вагонах-ресторанах.

Витька Анисимов — Заика, как ушёл вскоре после “казни” Саньки Разина в ученики слесаря, так и проработал всю жизнь по этой профессии. Говорят, был очень хороший слесарь.

Юрка Маркиз кончил строительный институт, поднялся до крупного начальника. Разин встречал потом его фамилию в местных газетах.

Славка Сазан вдруг ни с того, ни с сего пошёл в Дом пионеров, в кружок струнных инструментов. Закончил музыкальное училище, консерваторию, играл в оркестре с известными певицами. Одновременно не упускал возможности “лабать”\* в ресторанах, “башлять”\*\* на проводах “жмуров”\*\*\*. Довольно быстро эта халтура стала основным занятием — с обильной выпивкой, трудным выходом из запоев.

Славка немец, как и отец, стал медиком. Только не санитаром, а врачом.

Про Кольку Москву — Николая Гавриловича Плутина — одно время говорили как про возможного кандидата в космонавты. Ещё в те космонавты — первые. Его мать, Валентина, как-то облокотившись по обычаю на за-

\* Лабать — играть (муз. жаргон).

\*\* Башлять — зарабатывать (муз. жаргон).

\*\*\* Жмуры — покойники (муз. жаргон).

бор, остановила Санькину бабу, стала рассказывать про сына. Говором быстрая, спешная, она, торопясь, то и дело проглатывала буквы. Говорила, что Колька — лётчик, хорошо живёт, имеет покладистую жену и вот теперь она — Валентина, ждёт, когда придут с внуками. Потом скорострельно подытожила: “Нет, Михална, всё жа Колька у меня пердовик”. Хотела сказать “передовик”, но подвела привычка. Санькина бабу, конечно, постаралась. Улица долго повторяла слова Валентины Москвы.

Разин так и не узнал, имел ли Николай Плутин отношение к космонавтике, но в мундире полковника авиации он сам Кольку однажды видел.

Что до Александра Николаевича Разина, то трудно сказать, где он сейчас. Был геологом, воспитателем, ходил в политику; поднимался довольно высоко вверх и падал глубоко вниз.

Но когда его пытались согнуть, чтобы выпрямить, он только бычился и каменел в убеждениях. А на предложения просить прощения у сильных в ответ слышали: “Не буду...”

Если встретите сегодня такого, быть может, это он и есть — тогдашний Санька Разин.

